

# НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO 243 West 56th Street, New York 19, N.Y. Tel. COlumbus 5 - 5500

## Трюмэн в апреле 1956 года посетит страны Среднего Востока

Чикаго, 20 ноября. — Бывший президент Х. Трюмэн заявил, что в апреле 1956 года выедет с женой в страны Среднего Востока. В марте бывший президент закончит работу по редактированию своих воспоминаний. Трюмэн примет также участие в работах по расширению библиотеки-музея его имени в городе Индепенденс в Мизури. На закончившемся сегодня съезде лидеров-демократов Трюмэн пользовался огромным успехом. Он был самым популярным членом съезда.

## ХАММЕРШИЛЬД БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ В ИНДИИ

Объединенные Нации, Н. И., 20 ноября. — Генеральный секретарь ООН Хаммершильд едет в феврале будущего года в Индию на экономическую конференцию.

По слухам он возобновит переговоры и с китайскими коммунистами в надежде наладить сближение между Пекином и Вашингтоном.

# ЛЕТО С РЕМИЗОВЫМ

По вторникам и пятницам мы занимаемся: читаем все подряд. На краю стола Андрей Лесков о отце, Николае Семеновиче Лескове, 1956 г.

— Книгу Лескова, — говорит А. М., — можно поставить как том двадцать третий к книгам Н. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина». Книга документальная — история русской культуры, для писателей особенно поучительны последние главы, как писал Лесков. А. М. думает, что это одна из значительнейших книг, вышедшая за последние годы.

— Если бы я прочитал в мои гимназические годы изложение Ю. Л. Сазоновой «Слова о полку Игореве», — продолжает Ремизов, — я бы полюбил это единственное произведение на всю жизнь. А дядя Сазоновой — Семен Афанасьевич Венгеров дал бы ей ученую степень: доктор естественной словесности.

Обезьяны Вольная Палата произвела Ю. Л. Сазонову в обезьяны академики; среди французов таким академиком — Жан Кассу. А вот, что думает А. М. о «Слове»: «Среди памятников древней русской литературы «Слово» стоит одиноко и по своему ладу и по искусному строению. Ничего подобного не было в «болгарских» веках русской литературы. Если «Слово» 12 века, как могло случиться, чтобы такой пылкий к слову первый непревзойденный «летрист», с которого пошло «словоплетение» Епифаний Премудрый (14 в.) не наткнулся в богатом ростовском книгохранилище на список «Слова»? Обывательское толкование, «что он де, как лицо духовное, пропустил мимо глаз воинскую повесть», не убедительно: не так и не туда. Разве для любителя слова имеет какое-нибудь значение литературный жанр? Епифаний анализ с ростовскими волхва-

ми, иначе не сложилось бы Житие Стефана Периского. Волхвы были единственными хранителями имен богов, которыми пронизано «Слово».

А что мне еще на раздуме: запис «Слова» — упоминание безличного баяна (в полууставе с маленькой буквой) «сказителя», принимаемого обычно за собственное имя, и церковнославянские формы, такие как «словесы» или «ракотаху», нарушая строй повести, звучат для моего уха фальшиво. А не было ли «Слово» только фрагменты, организованные потом (16 в.)? Говорю о своих сомнениях, я не ученый, пусть Роман Якобсон, Д. И. Чижевский, Д. С. Лихачев решают.

— Написал и не могу разобрать, — жалуется А. М. — Я вооружаюсь лупой, одни буквы налезает на другие, много клякс, помарок, с трудом разбираю:

— Лбом в стену. — Я готов был принять боль, сколько влезет в мою душу. И меня доконало — и ведь совсем не то откуда ждал — удар по глазам. Книга — источник обогащения — для меня закрылась. Я остался с самим собой. Тут вот я и почувствовал свою «бедность до истощения». И ничего не остается, как писать свою отходную.

— Беда — эти возникающие кляксы в живое — моя доля.

— А над бедой небо: солнце, месяц, звезды — смотрю через «Посолонь».

— Загнала судьба. Где и когда я был желанным или на месте? Много я принял упреков. Не перечить черным дням, конечно, я был часто неправ, и это мое «по-своему» — такое не проходит бесследно, не премено заденет.

— Покаяюсь, но только не понимаю зачем? Какой толк от всех моих бед?

— Говорят о «внутренних

глазах». Возможно, но я кроме этих слепых — не замечаю. На месте глаз — пустота — яма.

— Я знаю есть радость — и отравленная судьбой разлука. Перед стеной глазами в серый камень я никогда не спрашивал: «за что?» Всегда покорно принимал судьбу. В беду затаенно ждал или ошаренный не выбивался из-под удара. Чувствую мою бедность. Все мне казалось богатыми, нечем мне похвалиться!

— Я всегда чувствовал себя ни на кого не похожим и принимал это не за знак милости, а как отверженность. С первого шагу я почувствовал на себе «каинную печать». И эта проклятая отметина привела меня к стене и я очутился лбом в стену и почувствовал всю нищету моего существа.

— Ждать мне больше нечего. И нет prospects. Я как-бы выскользнул из жизни — все где-то там за стеной.

— Уперся лбом в стену — не могу принять свою долю — смиряться. И как смиряться — я не чувствую себя раздавленным — я только выброшенный — заживо погребенный.

— И я не слышу в себе голоса мертвеца — «прощайте».

— Непокорный, бьюсь лбом о стену.

— Улыбка — свет радости жизни, я и сам замечаю ее больше нет во мне. Тревога за ковала мою душу. Мелочи существования.

— Хлеб наш насущный, и недоверие из-под взгляда глаз, когда обращаются ко мне.

— В скобках: не могу перечить, слова не складываются, мысль бесильно бьется.

С разрешения А. М. эти его записи вразброд вношу в мою «заветную книгу».

Сегодня А. М. гулял по солнечной стороне, только что вернулся, он оживлен: это теперь

большая редкость. Обычно он выходит погулять с «африканским доктором».

— А знаете почему я редко выхожу с другими, — ведь я себя, своей «непохожести» стесняюсь! Я об этом думал и не раз, — говорит мне А. М. — И вот как началось, это мое стеснение самого себя...

— Смирным я себя не помню. В драках меня колотили. Особенно больно — под душу. Но и сам я насакивал, хотя едва-ли удалось мне хоть раз кого-нибудь смазать.

— За свою врожденную «поперечность» однажды я получил такую затрещину, — до сих пор лицо горит.

— Рано я стал проявлять «дурные наклонности», что означало мою живучесть и волю — все «по-своему».

— Если в доме случалось какое-нибудь «сверх дном», да и не только дома, а и на дворе, — первое подозрение: мои предки — нет никакого сладу.

— Ни у нас, ни на дворе среди фабричных, детей не пороли.

— Жиди под угрозой «высекут», ни никто не верил. Голос из белого «хозяйского» дома — слова опекуна: «Позову плотников и тебя высекут!» Но никто не верил этой угрозе. Я знал всех плотников, плотницкую мастерскую, тес, стружки, опилки.

— Плотницкая была чистая, плотники, как на подбор, ражие и балагуры. Ничего страшного! Разве что блестящие пилы. Как-же можно было верить в угрозу с плотниками?

— В числе одного моего озорства, теперь вспоминая скажу, умысла не было, а вышло из-за моих «подстриженных глаз». Никто еще тогда не догадывался, что я почти слепой: за гладильной машиной мой брат водил между валами полотенец. А я вертел колесо. С полотенцем между валов поныли и кончики его пальцев. Ска-

зали, что это я нарочно сделал, озорничая.

— На всех есть какая-то преграда — нет человека, что бы чего-нибудь не боялся. И это выражается, как кто ходит. Я не помню, что бы я шел по двору тихо или слонялся бы. Я бегал — носился.

— Когда по двору разнесся слух — меня будут пороть, всех занимало, как это произойдет. Я в моем беге раздумался. Не на дворе-же меня будут стегать перед плотницкой. Да я и не поддаюсь — попробуй-ка схватить меня: залезу на крышу.

— Или будет так: плотники загонят в курятник — загнать легче, чем поймать — и в курятнике отстегают «яилами». Проходили дни, а меня не трогали. Пальцы у моего брата поджили. И, казальсь, — все позабылось — до новой проделки.

— Наша нянька — Прасковья Семеновна Мирская, Зарайская (Рязанской области), крепостная барина Засекина, пертерпевшая — мне запомнилось ее терпеливое: «пороли, девушка, пороли в крепостях!» Смотрела на меня покорно и убито. И за все время ожидания я не слышал от нее слова. А горничная Маша только глазами мне подстреливала, дразня: «до бегался».

— Я бегал на плотницкую, и о как я ни лез в глаза, не обращали на меня внимания.

— И я поверил, что все сошло угрозой и пороть меня не собираются. Я бегал по двору, занятый своими выдумками все перевернуть и поставить по-своему. На кухне варили варенье, окна раскрыты, пахнет лакомыми пенками, на которые все дети и муха падки. Нянька покликнула меня: я думал любимые пенки.

— Идем в комнаты штаны мерить! Она сказала ласково, а мне прозвучало: вкусные пенки! Нашего портного, по прозвищу «Поль — уже», на кухне не было. Я только не соорудил сразу. Мерить, конечно,

\*) Нянька в доме Ремизовых всех называла «девушка».

в детской. И я поднялся наверх, а за мной нянька.

— Сними штаны, девушка! еще ласковее проговорилось ее убитое.

— Я разделся и ждал. И куда — это она ушла, думалось, или за пенками?

— И слышу, шаги, в детскую, вошла няня. И никаких штанов — нянька нагнулась, в руках ремень и крадется ко мне, тербя ремень, хлестнуть — И я вдруг все понял. И заметался, но меня как переломило — ни отпрыгнуть, ни выскочить.

— Прасковья, оставь, не надо! — издали я услышал голос матери. Я очнулся.

— Одевайся, девушка! — сказала нянька и, не глядя, вышла. Присмирив, я сел на кровать одеваться.

— Кроме матери и няньки кому было знать о неудавшейся порке, а почему то ни дома, ни на дворе о предстоящей «эзекуции» больше не упоминалось. Да и кто мог подумать, что сам снял штаны под ремень, и был помилован? Я по-прежнему бегал по двору чего-то выдумывая. Но с этих пор я стал стесняться себя. И все чаще к моему имени прибавлялось «уродина». Только во сне я не выхляюсь и смотрю прямо перед собой. — Усмехнувшись закончил Ремизов.

**О РАЗНОМ**

— Никаких правил не может быть, как надо писать, — говорит А. М. Не зная языка нельзя писать — это само собою, но и знать еще не все — надо владеть словом, а не то, чтобы слово владело речью. Из потока слов брать по своей воле, а не то что лезет на язык.

Надо подбросить книжную фразу, повернуть и вывернуть, проговора ее. Надо отстранить образ — только тогда он возникнет, будет жить: и звучен и светит!

Когда я слышу: «а где не прочитать?». Я понимаю, что из этого писателя путного ничего не выйдет. У писателя должна быть только одна корысть; выразить захватившую его душу

мысль и образ.

— Русский, Россия — через всю мою жизнь.

— Пишу по-русски и ни на каком другом. Русский словарь стал мне единственным источником речи. Слово выше носителя слов!

— Я вслушиваюсь в живую речь и следил за речью по документам и письменным памятникам. Не все лады слажены — русская книжная речь разнообразна, общих правил синтаксиса пока нет и не может быть.

Восстанавливать речевой век не думал и подражать не подражал ни Епифанию Премудрому, ни протопопу Аввакуму, и никому этого не навязываю.

— Перебрасываю слова и строю фразу, как во мне звучит. Веду свое от Гоголя, Достоевского и Лескова. Чудесное от Гоголя, — боль — от Достоевского, чудное и праведное — от Лескова. Хочу верить: имя мое сохранится в примечании к этим писателям.

— Я никогда не сидел, сложа руки, и не знаю, что такое — скучать. Бывает чтоб убить время, рады скучному гостю, а у меня всегда была книга, и если я жаловался, то вовсе не на скуку, а на часы, которых мне не хватало на книгу!

— Все перечить невозможно — я это заметил по библиотекам. Но это меня не останавливало. Я читал книги не для того, чтобы убить время, скуку, а для того, чтобы знать. Меня увлекала мысль и жизнь. Я не скучал но и мечтателем не был.

— «Проклятых вопросов» неразрешенных у меня никогда не было.

На доброе есть определение — улыбка. На злое говоря: «черты лица искажены». А можно-ли представить себе злое дерево? Злое я различаю, но передать мне не по силам, уж очень чуждо. И если зло стержень — я бескостный.

— Всю мою литературную жизнь я слышал, возвращая мне рукопись говорили: не для нашего читателя. Под этим подразумевалось: слишком мудрено или сложно. Я всегда вспоминаю Белинского: «У нас

\*) См. вчерашний номер «Н. Р. Сл.».

еще мало читателей, — писал он в обзоре «Ничто о ничем»: и так старайтесь умножить читателей! Это первая и священная ваша обязанность. Не пренебрегайте для того никакими средствами, кроме предсудительных, наклоняйтесь до своих читателей, если они слишком малы ростом; пережевывайте им пищу, если они слишком слабы; узнайте их привычки, их слабости, и соображаясь с ними, действуйте на них!». В этом отношении нельзя не отдать справедливость «Библиотеке»<sup>\*)</sup>: она надела много читателей. Жаль только, что она без нужды слишком низко наклоняется, так низко, что в рядах своих читателей не видит уже никого ниже себя!

— Диктовать я не могу: моя мысль живет, а слова распускаются и цветут в молчании и тишине. А как я теперь пишу — вы знаете (почти слепой А. М. записывает только свои сны и мысли).

— По своей слепоте я — не читатель, я слушатель. Путешествия послов, XVI — XVII века читает С. Ю. Прегель — лучший из моих чтецов. Она была самоотверженным редактором «Новоселья», и своей работой внесла ценный вклад в книжную казну. Хорошо еще читает Емельянов, мой субботний и воскресный полуденный гость: в его голосе чувствительная прослойка — «язык Уложения 1649 года» как живая речь. А стихи читает верный Мамченко: стихами провожаю воскресный вечер!

— Много я вижу добра от людей: каждый хочет что-нибудь сделать, а в болезнь — бессонную проведет ночь, карауля. Когда-бы не доктор В. М. Зернов — где бы я теперь был, по каким дорогам вел-бы меня мой зрячий по-сох!

— Меня всегда радует П. П. Сувчинский: с ним в Кукушкину входит музыка.

— Если бы я был музыкант — поясняет А. М. — я одновременно с рисунками и запи-

сью, сочинял бы музыку, то что я вижу выговариваю словами. Музыка! Музыка! Музыка! Овеяна и озвучена моя память, мои сны, моя любовь, моя беда и пропад. И все, что дышит на земле — горюет в моих глазах. Мне и цветы не немые, как и камни зоркие.

Еще так недавно А. М. сам любил подпевать, а теперь от балагурства, прежних шуток мало что осталось.

После болезни визиты к А. М. сокращены, и все-таки, сколько за лето пребывало у него разного народу. Звонок. Открываю дверь. Входит молодой человек, светлые волосы ежиком, голос, прерывающийся от волнения. Спрашивает: «можно-ли видеть А. М.?» — и жадно оглядывая коридор, добавляет — всего на минутку!».

Усадив гостя рядом с собой, А. М. прикрыв глаза, приготовился слушать. Я иду в Караульную, поглядеть на каштан. Справа — заброшенный дворик, деревянный забор и куст бузины: такой двор может быть всюду...

Пять минут превратились в часы... Вспоминаю, как в год войны, я сама не решалась пойти к Ремизову, и мою первую сказку послала с одной знакомой. Всю ночь не спала, а утром с ужасом подумала: что я надела...

Был сочельник, и «сказочник», взяв меня за руку, ввел в Кукушкину, где была зажжена елка. Были гости. На диване сидела нарядная Серафима Павловна — Оля из «Розового блеска». И разве тогда я могла думать что пройдет шесть лет прежде чем я опять окажусь в Кукушкиной.

От заходящих лучей солнца уши молодого автора просвечивают красным, или это от робости. Под наставления А. М.: «идите тихонько, спокойно, на лестнице не пойте» — гость уходит. Ремизов, почти слепой, сам всегда идет провожать по цветному коридору до выходной двери.

— Жалко: плохой рассказ, — говорит Ремизов, — но пускай себе пишет: ему в ра-

дость, а вреда — никому. Как бы плохо ни писал, каждый, занимаясь словом, прокапывает словесную землю. Поэтому я никогда никого не гоню, хотя бы лепетал.

Лето кончилось, задуманное прочитано. Книжки, стена цветных конструкций, в воздухе висят талисманы: в сумерках не видно веревки, на которой они подвешены. Среди раковин, морских коней, звезд — московский калач — все вместе погружает на «дно морское». А когда обживетесь, заметите и козыгина — он занимает так мало места. Закутан в разноцветные шкурки, всегда озябший. — Сколько ему, скажете, лет? По его памяти — тысяча, а может быть, и с хвостиком.

— Четырнадцатый год затвора, так и живу. В прошлом году меня выводили гулять девять раз, а этим летом и того меньше. По левой солнечной стороне; не переходя улицы. Встреченные шарахаются на мостовую: «сумасшедшего ведут!». И слышу вдогонку: «стихий!».

— Веселость духа меня покидает, вот что страшно, — говорит Ремизов.

А я думаю, какая страшная судьба писателя потерять глаза и зависить от зрячих, даже преданных. Ведь из всего, что он пишет ошущую, вода по бумаге пером — часто без чернил — разобрать мало что можно. Он он с отчаянием продолжает писать.

А когда были глаза, как кипела в нем и вокруг него жизнь. А. М. не шел, а стремился... Днем писал, вел хозяйство, а по вечерам любил рисовать, занимался своими цветными конструкциями, а главное, читал. На его чтения собиралось много народу. Теперь вечерами до прихода Утенка — караульщика, который будет читать ему вслух, сидит сказочник один. В темноте ночи, — в темноте своих глаз, один на один часами. Как длинные должны быть живому человеку эти мертвые часы.

Н. Кадрянская.  
Париж, 1955 год.

<sup>\*)</sup> «Библиотека для чтения» Сениковского.

Nov 21 '55

NEW YORK, N.Y.  
ZONE 18

# НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

NOVOY RUSSKOYE SLOVO 243 West 56th Street, New York 19, N.Y. Tel. COLUMBUS 5 - 5500

VOL. X SUNDAY, NOVEMBER 20, 1955.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ, 1955 ГОДА

ЦЕНА 10 СЕНТОВ

## СОВЕТСКАЯ ПЕЧАТЬ О ЖЕНЕВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Москва, 19 ноября. — Вернулся Молотов. В пути он сделал остановку в Берлине, где имел совещание с представителями правительства Восточной Германии.

Вся печать уделяет много места «успеху» конференции, «обратившей внимание всего мира на основные разногласия великих держав по вопросам, имеющим первостепенное значение».

Газеты подвергают резкой критике позицию, занятую печатью западных держав.

«Усердие, — пишет «Правда», — которое проявляет печать Соединенных Штатов и Англии, пытается похоронить «дух Женевы», свидетельствует о стремлении противников улучшения международного положения добиться возвращения к холодной войне».

В том же духе высказываются «Известия» и другие московские газеты.

New York  
Public Library  
42 St  
New York, N.Y.

